

Государственный социализм – травма революции

Initiative Sozialistisches Forum

1987

1.

Что Французская революция для буржуазии, то Русская для левых: одновременно идеал и кошмар. Для одних она являет собой воплотившуюся мечту успешного социалистического захвата власти, другим в ней видится ставший практическим отказ от воли к освобождению. Свобода, равенство, братство: революционная Россия противопоставила этим абстрактным правам человека состоятельных буржуа практические права производителей – земля, хлеб, труд, мир. И намеревалась таким образом воплотить в реальности оставшиеся нереализованными обещания буржуазного общества.

Как и всякая “просто” политическая революция, Русская революция пала жертвой диалектики власти. Уже якобинство было вынуждено перевести гуманизм лозунга “Liberté, Egalité, Fraternité” в цинизм пехоты, конницы и артиллерии (в оригинале: “Infanterie, Kavallerie und Artillerie”). Не со зла, конечно: трансформированный в политику и оформившийся в понятие государственности, гуманистический идеал естественного равенства конкретных людей не только неизбежно натурализуется в простой материал и сырьё для власти – всякий абстрактный идеал становится валютой для того, что пускается в оборот в виде монеты конкретного угнетения. И так, ни французская, ни русская революции не освободили индивида: более того, они превратили людей в государственных граждан.

В последовавшем за современными “великими революциями” террористическим уравнением раскрывается общественная правда всякой утопии о всеобщем равенстве (неважно, подразумевается ли этим равенство на рынке, перед законом или, скорее, равенство перед природой): всеобщее равенство возможно лишь, “не взирая на личность”. И подобно тому, как идеал всеобщего равенства может политически реализоваться (и гарантироваться государством) лишь в форме уравнения, так из практической реализации требований всеобщих свобод не может родиться свобода (каждого) отдельного человека. Уже в судьбе требования свободы выбора профессии видно, что оно подразумевало вовсе не то, что представлял себе массовый базис революции: революция принесла совсем не свободу от профессии. Более того, по-

средством буржуазных революций капиталистическая товарная экономика стала общественно организованной судьбой. То, что требовалось в форме свободы выбора профессии, в ходе буржуазных революций довольно быстро показало себя институционализированным принуждением вообще иметь профессию, причём, неважно, какую. В социальной расшифровке “Декларация прав человека” читается как насильственно гарантируемое обязательство к капиталистическому производству.

Революция была ликвидирована, когда к власти пришли революционеры. С Лениным и Троцким в России произошло то же, что и с Робеспьером и Сен-Жюстом во Франции. Революция против государства трансформировалась в обычное перенятие власти; выступив с целью уничтожения суверенитета, большевики смогли утвердиться удержаться лишь интенсифицировав его. Поставленная перед историческим выбором – сохранить единство государственной власти или отдать захваченную власть “белым”, Советская власть организовала не освобождение от труда, но принуждение к нему. Социалистический идеал общественного равенства всех перед “естественным” принуждением к воспроизводству жизни, приняв форму политики, оказалась натурализацией людей в живые сосуды рабочей силы. “Кто не работает, тот не ест” – социалистическая критика непродуктивной и праздной жизни, выдавливающей проценты от процентов паразитической жизни капиталистов в ходе Русской революции оказалась продолжением капитализма другими средствами.

2.

В Октябрьской революции восхищает тот парадокс, что ленинизм смог успешно совершить политическую революцию вопреки своей собственной теории – а социальную революцию он должен был проиграть и подавить именно потому, что он смог адекватно применить на практике свои теоретические задачи на этом поле. Не только потому, что ленинизм до “Апрельских тезисов” ещё вполне по-каутскиански не мог представить себе революцию в такой капиталистически недоразвитой стране как Россия – большевики могли получить политическую власть только потому, что они поняли её в своих конкретных действиях как инструмент, который можно использовать в любых интересах. Для большевиков, как и для любых других буржуа политически успешен тот, кто при наименьших затратах используемых средств получает наибольшую прибыль. Но возможность вообще действовать суверенно в таком случае вопиюще противоречит ленинистскому представлению представлению о сознании, которое не мыслит сознание иначе, как механический рефлекс на социально (и физиологичеки) данные ситуации. Понятие суверенности, будь оно понятием психологическим, укоренённом в индивидуе, или общественным, созданным формами общения между людьми, в теоретических построениях марксизма-ленинизма не встречается. Тем, что ленинисты в России вступили в борьбу за политическую власть, они сделали нечто, чего они, согласно их теории, не имели права делать. (Самое позднее, до апреля 1917-го года для всех большевистских социал-демократов ещё подразумевалось само собой, что роль повивальной бабки коммунистического общества можно было сыграть только в самых капиталистически развитых странах).

То, что теоретически могло показаться успешной хитростью разума, исторически оказалось объявлением банкротства. Уже в избранной ими форме восстания (главным образом, в кинематографическом штурме Зимнего дворца) большевики проиграли буржуазной идеологии, что тот, кому принадлежит право слова, сможет распоря-

жаться и использованием власти. Формула власти была рассчитана как умножение воли к власти на необходимые для её захвата насильственные средства – подобно тому, как социализм был вычислен как элементарная сумма советской власти и электрификации. Попытка освободить людей от их обязанности служить театральными масками капитала, вылилась с институционализацией власти советов в их переформирование в исполнительные комитеты бюрократившегося суверена.

Диктатура пролетариата превратилась в диктатуру партии над пролетариатом – и разрушила таким образом общественное содержание революции. Партия делает вид, что организует государство в исполнительный комитет трудящихся классов – и чем лучше ей это удаётся, тем успешней она организует тем временем диктатуру абстрактного труда над эмпирическими рабочими. Рабочий считается и “по ту сторону железного занавеса” лишь телесным воплощением труда, труда, который в своей абстракции от всякой качественно определённой деятельности не может служить ни чем иным, кроме как источником капитала и прибыли. Непонимание этой основы капиталистического производства привело к капитуляции перед законами капиталистического обобществления: в экономике как и в политике. Практически-политическое испытание тезиса, что власть можно использовать ради её собственного упразднения, не привело ни к чему, кроме её многократного усиления. Суверена нельзя унижить до обычного нотариуса или секретаря и остаться безнаказанным. Равно как и тезис, что капиталистическое обобщение приведёт по своей собственной логике к своей противоположности, к коммунизму, на практике привёл не коммунизму, а к варварству воспроизводящей саму себя системы; теоретическое унижение суверена обращается в его практическую инкарнацию в виде нового божества: пусть хотя бы и в форме “Партии”. Октябрьская революция была и в самом деле повивальной бабкой – вопрос только в том, для кого и для чего.

3.

Общественная теория марксизма-ленинизма юридическая, но не критическая. Экспроприация капиталистов должна привести к ликвидации капитализма. Перепись имущества на государство как на общественного пролетария должно фундаментально изменить характер производства. Но декрет об экспроприации лишь приказывает расширить фабрику до пределов всего общества. Революция против капиталистов есть революция в пользу капитала. Революция в марксистско-ленинистском смысле не означала ничего иного, кроме революции ради развития только сокрытой буржуазно-эгоистическими интересами истинной сущности государства как естественного представителя принципиально разумного планирования. И революция и по сей день не является для ленинистов чем-то иным, кроме восстания против рынка как дурного проявления и ради фабрики как доброй сущности.

Сущность государства, как и сущность фабрики, заключается в рационально-абстрактном планировании эмпирически-конкретного ради чего-то абстрактно-общего. Лишь потому, что буржуазные интересы монополизировали плановое государство в своих частных интересах, сделали его исполнительным комитетом своей власти и оккупировали его против объективных общественных потребностей, ленинисты видят необходимость в революции. То, что большевизм понимает под экономикой, видно в словах Ленина о капиталисте как о, собственно, для продолжения производства никчёмного “резателя купонов”. Экономика для ленинистов

является всего лишь не подвергаемым сомнениям местом присвоения природы. По своей сути экономика является трудом и, посему, переформированием природы для удовлетворения потребностей. При капитализме эта сущность ещё скрывается под оболочкой. Пока существует противоречие между общественным производством и частным присвоением, продукты хотя и производятся как потребительская стоимость, но продаются на рынке в виде товаров, в виде обменной стоимости. Ответственны за то, что продукт отчуждается в форме товара, не сам труд, а юридические притязания капиталиста на результаты производства.

Понятие о власти как о вещи, которую можно приобрести и обладать ею как и любым другим товаром, есть политическое отражение экономического овеществления, отражение той истины, что динамику капитала не следует сводить только к “отчуждённым” взаимоотношениям между людьми, а следует понимать как форму развития определённого феномена со своими собственными законами и историей. Овеществление возникает не в заблуждении нескольких, в остальном работающих сознательно субъектов, а систематически в обмене, т.е. при использовании денег как конкретно-эмпирического выражения абстрактного обобществления при помощи стоимости. В проявляющейся в деньгах противоречивости – с одной стороны, как простого средства для достижения лежащих вне него самого целей (автономно сформулированных целей), с другой же стороны, как своей собственной цели (в качестве средства для накопления стоимости) – проявляется сущность капиталистического обобщения: обобществление происходит, когда отрицает самое себя. Всякий субъект свободно, т.е. суверенно принимает решения о своём участии в политике, экономике и культуре – но их этого возникает не хаос разнонаправленных интересов, а единство капиталистического общества. Взаимосвязь буржуазного общества, вообще его синтез в понятийно охватываемое целое происходит благодаря превращению: превращению индивидуальных, конкретных потребительских стоимостей во всеохватывающее, абстрактное единообразие.

Лишь потому, что они были созданы ещё на фабрике как товары (производителями, продающими свою эмпирическую конкретность как товар, а посему вынуждены абстрагироваться от самих себя), капиталистически произведённые продукты могут быть обменены лишь как товары. Стоимость возникает не на рынке – “контроль” или даже “упразднение” законов рынка не могут изменить капиталистический характер производства ни на йоту. Рынок является всего лишь одним возможным местом для реализации стоимости среди прочих – организуемый государством план является другим таким местом. За товарным характером какой-либо вещи, таким образом, таится не её истинная потребительская стоимость, но всегда лишь поиск оптимального места для увеличения созданной в производстве стоимости. Это было и остаётся причиной и целью всех способов капиталистического производства – а не востребованность кем-либо этой вещи.

4.

Частный капитал непосредственно вбирает в себя рабочую силу рабочего – чем ниже его зарплата, тем выше прибыль капиталиста. Относительно общественных результатов этих действий частный капитал, как известно, слеп. Чтобы совладать с возникающей при постоянном лавировании между “республикой рынка” и “деспотией фабрики” кризисностью буржуазного общества, необходимо – помимо прочих

“общественных задач”: полиции, армии, права и т.п. – общественно администрировать рабочую силу, т.е. в наёмном труде должен исчезнуть и момент его формальной свободы; это свобода рабочего продавать свою рабочую силу или умереть с голода. Это должно быть сделано, как было показано историей, не вопреки массивному сопротивлению организованного рабочего класса, а вопреки сопротивлению отдельных капиталистов. Хотя внутренняя конкуренция политически нейтрализуется вопреки воле частных капиталов, капитал при помощи государства, таким образом, вообще приходит к понятию своей сущности: он становится пронизывающим всё субъектом общественного воспроизводства. Вместе с государственно опосредованным тотальным подчинением рабочей силы капиталистическая “экономика вещей” трансформируется в “экономику людей”. Результатом Октябрьской революции является то, что в виде Советского Союза впервые смогла реализоваться эта человеко-экономическая форма капитализма.

Государственный капитализм, как он функционирует в СССР, означает, что организованное в форме фабрики общество знакомо с конкуренцией только в виде внешней судьбы или – внешнего рынка. Внутри же царит экономика политической потребительской стоимости. Это вещественная экономика, экономика обеспечения, распределения, обслуживания и рациионирования по критериям, которые нужны политическому центру. Одновременно с этим, это экономика структурного дефицита, в принципе, статичная, нацеленная на простое воспроизводство экономика, воспринимающая вызовы конкуренции на мировом рынке в опосредовании через проблемы суверенности своего политического руководства. Этот государственный капитализм, несмотря на вполне очевидные противоречия, воплотил то, о чём мечтали многочисленные политики социальной и плановой государственности на Западе: превращение целого общества в согласованно действующий национальный капитал. Большевизм, таким образом, отдал должное не только цели буржуазного государства быть идеальным общественным капиталистом, но и впервые реализовал, помимо этого, ещё одну его цель: собственно, ту, что государство должно стать ещё и идеальным общественным пролетарием, если капитализм должен успешно администрировать рабочую силу как человеческий ресурс.

Экономическая модель номинально социалистического государственного капитализма обнаруживается в военной экономике Германии 1914-18-х годов. Социал-демократы всех цветов восхищались способностью тогдашней Германской империи к “экономике потребностей”. Они были восхищены обнаружившейся тут способностью политики установить своё главенство над экономикой и утвердить рациональность плана вопреки иррациональности рынка. Для Ленина социализм был продолжением этой государственно-капиталистической монополии: “Социализм есть ни что иное, как государственно-капиталистическая монополия, применяемая на пользу всего народа и, вследствие этого, переставшая быть капиталистической монополией”. В “Государстве и революции” в 1917-м году Ленин пишет:

«Все граждане становятся служащими и рабочими одного всенародного, государственного “синдиката”. Все дело в том, чтобы они работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну. (...) Все, общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы».

Власть должна исчезнуть, если распределить её тонким слоем по обществу. Но одновременно с этим речь ведётся о “размере труда” и вытекающей из этого равной, т.е. справедливой заработной плате. Уже этим непосредственно предопределено, что если рынок рынка отпадает в роли регулятора, то задачей особой инстанции является определение этого “размера”, при помощи которого некий труд может быть сравнить с любым другим. Этот размер не может быть установлен самими трудящимися; подобно тому, как и всякая другая абстрактная справедливость может конкретизироваться только при содействии общего “третьего” (права, судьи, морали), государственно-капиталистическое определение справедливого размера труда требует “компетентности”, “деловой нейтральности”, т.е.: бюрократии.

Бюрократия не только заменяет рынок: она очевидно определяет справедливую зарплату согласно тем же критериям, по которым на капиталистическом Западе “размер труда” определяется рынком. С одной стороны, в соотношении зарплаты и проделанной работы царствует принцип обмена одинаковых стоимостей, и тем самым, закон оплаты в соответствии с необходимыми для воспроизводства рабочей силы продуктами питания. С другой стороны, рыночное опубликование закона стоимости политически запрещено и трудящиеся считаются служащими учреждения, чье право на существование должно обосновываться в гарантии существования его служащих. Этим противоречием двигается общественное воспроизводство советского общества со времени его возникновения 70 лет назад.

5.

Анализ экономики советского общества достоверно показывает, что тут был заставлен пошатнуться не капитализм, а административная власть над общественным богатством перешла от одного класса (капиталистов) к абстрактно-реальной формации: к партии. Что тут было воплощено то, что всегда было сокровенной мечтой всех социал-демократов: организация общества по принципу социал-демократического организационного строительства.

Так же, как якобинцы не предали идеалы буржуазии, а всего лишь воплощали их последовательной прочих сограждан, так и большевизм представляет собой не революционное преодоление социал-демократического реформизма, но его активистский, левацкий вариант. Ни как политик, а тем более ни как философ Ленин не поднял марксизм на уровень критики капитала в империалистическую эпоху, но только лишь додумал до конца социал-демократическую идеологию предвоенного времени. Тем, что он действительно серьёзно отнёсся к ней и возвёл её философию в систему, он перерос Каутского и Бебеля. И так он смог стать вождём первой социал-демократической революции в истории.

Подобно тому, как социал-демократия после Энгельса, марксизм-ленинизм переформулирует обнаруживающиеся у Маркса материалистические элементы фундаментальной критики буржуазного обобществления в науку, которую можно применить в форме государственной политики. В отличие от традиции буржуазного Просвещения целью умственных усилий в марксизме-ленинизме не является выявление условий возможности свободы – их цель заключается выведение конкретное-индивидуального мышления из одного единственного всеобщего закона. Отклонение сознания от своего предназначения фотографически отображать объективную реальность может, соответственно, быть понято только как патология или недоб-

рые намерения – чем у Ленина уже предвосхищается идеологическая структура последующей сталинистской агентурной паранойи. (На что эта паранойя способна, отчётливо и жутко демонстрируется, например, Московскими процессами или самообвинениями Бухарина). Принцип ленинистского, научного материализма тот же, что и принцип вообще научного действия: его гносеологически чрезвычайно проблематичные предпосылки разрешаются практически (как некогда и Александр поступил с гордиевым узлом) – а затем наивно заявляется, что проблем больше нет.

От гносеологии до теории возникновения классового сознания, от партийной теории до теории организационной: гносеологические дилеммы, в которых запутался ленинизм, не были разрешимы на уровне вульгарно-марксистской идеологии духовного отца всех большевиков, Плеханова. Они могли быть “разрешены” только при помощи прыжка из вращающихся вокруг себя круговых выводов, т.е. они могли быть преодолены лишь практически – причём следует учитывать, что научный материализм в своей страсти к производным просто не ведаёт необъяснимых или взрывающих систему прыжков: ибо всё происходящее должно быть следствием некой причины. Результатом этих, совершённых вопреки собственной теории прыжков, было то, что ими, в отличие от меньшевиков, не был заторможен необходимый для революции энтузиазм; энтузиазм, который мог возникнуть только там, где больше не спрашивают о рефлексивной контингенции, а просто-напросто приступают к действию. Но результатом этой революции было не исчезновение изначальных проблем – прежде всего, остающаяся до сих пор центральной проблема продолжающегося существования капиталистического варварства, не была устранена. Результатом действий большевиков также, несмотря на успешно совершённую революцию, которая, кстати, являет собой именно такой необъяснимый ленинизмом прыжок, не была революция капиталистических условий производства: результатом была концентрация и индивидуализация власти в едином центре – даже если эта власть, иначе чем при царизме, ставила своей целью не меркантилистскую, до-буржуазную, а капиталистическую, планируемую государством эффективность.

Большевизм понимает свои проблемы, равно как и вся прочая социал-демократия, только как проблемы истинного опосредования: партия должна выступить посредником между эмпирическим и необходимым сознаниями, соучаствовать в обоих в виде моста и, в то же время, раствориться в их синтезе. Эта вульгарная диалектика постигает проблему возникновения классового сознания лишь в форме ответа на организационный вопрос. Поднимающаяся снизу эмпирия и спускающаяся сверху трансцендентность должны слиться воедино в партии. Это демократический централизм, предлагающийся тут как техника, который должен свести вместе плюрализм волеизъявления снизу с неизбежным единством принятия решений. Марксизм-ленинизм, тем самым, делает специфической социалистической формой политики то, что, причём более эффективно, уже давно существует в форме парламентаризма: трансформации эгоистических интересов частного лица в общественно-полезные устремления государственного гражданина. Но как и для западного парламентаризма, для его восточного варианта тайна этой трансформации остаётся непостижимой. И так остаётся лишь – даже если это и противоречит марксистско-ленинистскому материализму, ибо онный должен был бы усматривать тут субъективно не изменяемую закономерность в действии – понимать опосредование как результат властной

борьбы между фракциями или вождями партии, как конкуренцию между равноправными теориями или же как подтверждение дарвинистского закона, что побеждает сильнейший – а не то, как это подразумевается историческим детерминизмом, что коммунистический рай будет неизбежным итогом человеческой истории. Это тот, лежащий во всяком чрезмерном объективизме чрезмерный субъективизм, в котором политическим индивидам придётся бороться за выживание в реально существующем социализме в виде театральных масок суверена. Знаменитое “завещание” Ленина, в котором он предупреждал от возведения в ранг генерального секретаря, служит не только свидетельством его пророческих способностей. Он, среди прочего, свидетельствует о том, что и Ленина беспокоил вопрос, являются ли определённые индивиды достаточно надёжным, чтобы доверить им претворение в жизнь объективного принудительного характера суверенитета. Заряженная моралью и сведённая к соотношению воли, в буржуазном обществе политика становится сначала проблемой консенсуса, а затем – проблемой насилия. Форма политического большевиков, напротив, никогда не занимала.

6.

Единственная коммунистическая возможность опосредования экономики и политики, т.е. единственная возможность прийти к некоему синтезу, в котором эмпирическое классовое сознание встречается с, естественно, лишь абстрактно данной необходимостью, которую должны преодолеть актуально существующие формы обобществления, есть упразднение этой опосредованности. Дуализм государства и общества не может быть снято в экстазе политики, но лишь в новой форме общественного синтеза, который взрывает товарную форму как реально данное опосредование всех дуализмов и одновременно способен гарантировать не основанное на эксплуатации и овеществлении обобществление.

Ясно, что большевизм не в состоянии отреагировать на практиковавшиеся до сих пор формы такого революционирования общественных форм общения. Но Октябрьская революция была, как и впервые Парижская коммуна, местом, в котором возникли советы как самоорганизация производителей, т.е. местом для воплощения формы общественного общения, в которой противоположности организации и спонтанности, теории и практики, возможности и необходимости были бы сняты в новом синтезе. Советы в Октябрьской революции выступили в роли преодоления ленинистских кружков – как саботаж противоречий, лишь видимо преодолеваемых большевизмом. В отношении большевиков к советам с самого начала выразилось всё их инструментальное отношение к социальной революции.

Можно и дальше спорить о вопросе, было ли отношение Троцкого к советам другим, чем Ленина, а у него другим, чем у Сталина и т.д. и т.п., а также о вопросе, была ли ликвидация советов большевиками (включая Радека и Троцкого) морально предосудительным, но политически неизбежным шагом, или же последствием, необходимо вытекающим из неверной теории – если это происходит в осознании того, что эти споры уже по своим предпосылкам не смогут взорвать рамки данного суверенитета. Как бы ни было важно воссоздать ситуации, в которых принимались решения, и (исторически) данные варианты действий – ограничивавшиеся не только военно-политической ситуацией, но и в не меньшей степени идеологическим социал-демократизмом большевиков: исследование Октябрьской революции не

должно ограничиваться прилежной подгонкой всевозможных событий друг к другу. Из неё, прежде всего, нужно почерпнуть, что тот, кто говорит А, должен хотеть и Б, что тот, кто считает ленинизм революционной теорией (а не более последовательным вариантом социал-демократической политики в данной революционной ситуации), не имеет аргументов (кроме морально-произвольных) против сталинизма. Но вопрос, всегда ли это должно происходить так, что революционеры не такого уж отдалённого будущего сами похоронят свою революцию, является вопросом личной ответственности каждого, кто и сегодня говорит о революции. Касательно Октябрьской революции можно и нужно спорить о том, возможны ли ситуации, в которых возникают моменты свободы, т.е. моменты, которые не сводятся к исторически данным условиям.

В любом случае, необходим разрыв с марксизмом-ленинизмом, разрыв, не основывающийся на смене мод или на простом забытии, но вызванный критикой, которая несмотря на актуальную невозможность революции не забывает о её необходимости. Кроме того, необходимо порвать со всеми представлениями в мышлении социальной оппозиции, будто бы плановая экономика может быть фундаментом коммунистического хозяйствования – как и для большинства сегодняшних анархистов было бы необходимым порвать с традиционными для их мышления представлениями, что (анархический) коммунизм является ни чем иным, как свободной рыночной экономикой без государства. Следует, наконец, отказаться от фраз о единстве теории и практики – ибо в ней продолжает влачить существование маоистское прошлое сегодняшней левой интеллигенции, прошлое, беспроblemно трансформировавшееся в экспертизу партии “Зелёных”. Фразы о выведенной из теории практики живут сегодня, как и тогда, за счёт слепой иллюзии, что можно сформулировать истинное понятие негативного по себе явления. Тем самым понятие превращается в простое отражение самого явления, а практика становится, хочет она того или нет, клятвой верности капиталу. Для этих левых со времён 1968-го года не было важным ничего, кроме сохранения созданных общественным разделением на телесный и умственный труд привилегий. В отличие от этого, Октябрьская революция остаётся нашим делом: как незаконченное, проявившееся в советах предвестие единства многих без принуждения.

7.

Октябрьская революция остаётся нашим делом тем более, что тут, на Западе, российский государственный капитализм всё ещё используется для подтверждения тезиса, что буржуазное общество хотя и, если признаться, довольно плохая, но всё-таки, как исторически было продемонстрировано сталинизмом, лучшая из всех реалистичных общественных форм – ибо человек по природе своей слаб и подкупен, и всё же нуждается во власти, которая ему укажет, как надо жить. А демократический парламентаризм является государственной формой, при которой индивидам отводятся самые широкие суверенные права. Больше невозможно уже по соображениям антропологии.

Противопоставление “тут – демократия, там- тоталитаризм” лишь заново доказывает, сколь мало буржуа может понять, даже после опыта фашизма, что всегда одинаковое общественное содержание его власти создаёт себе различные формы – кроме демократической ещё бонапартистскую, фашистскую и ту же государственно-

капиталистическую. Западный гражданин обвиняет Советский Союз в том, что как и фашизм, является одной из логических возможностей организации его общественных отношений. На примере СССР он критикует, что ужасы первичного накопления, террористическое воспитание трудовой морали, дисциплинирование мышления и чувств индивидов, изгнание крестьянства с его земель, конфискация основ его жизни и одновременное переформирование в промышленный пролетариат претворились там в цивилизованном 20-м столетии жизнь как осмысленная политическая программа. Он недоволен тем, что было сделано ради создания национального капитала, который может конкурировать с его капиталом, и что было сделано при помощи методов, которые должны быть знакомы гражданам, по крайней мере, из их собственной истории. И не только исторически: на оставшихся трёх четвертях мира эти методы всё ещё наглядно применяются и ответственны за это те же самые граждане Запада. Это не только нечестно, это элементарное лицемерие, когда этот гражданин объявляет себя невиновным, т.к. у нас общественный синтез спонтанно проявляется как немое давление обстоятельств, в то время как в государственном капитализме он нуждается в отчётливом приказании, чтобы создать единство общества и, тем самым, в отличие от Запада, действительно важные политические решения – и ответственность – остаются персонализированными.

8.

Уже семидесятилетняя дискуссия о подходящих материальных стимулах за индивидуальные достижения в Советском Союзе показывает, в чём заключается дилемма государственно-капиталистической экономики: заменяющее рыночные механизмы поощрение за качественно и количественно оптимальное производство товаров ещё не найдено. Это заметно не только в столь частых на Востоке жалобах на неспособность экономики к технологическим инновациям в отличных от военно-промышленной сферах: всякое производство живёт за счёт неформальной кооперации производителей, живёт за счёт того, что эти производители знают больше, чем им положено знать непосредственно для производства. Всё более объёмные и детализированные планы намереваются воспользоваться этим знанием, использовать его непосредственно для производства и лишиться его, таким образом, его опасной для бюрократии динамики. То, что на капиталистическом рынке происходит автоматически – в особенности, определение того, что может считаться потребительской стоимостью – на Востоке нуждается в приказах. Но чем конкретнее становятся эти приказания, тем более они нуждаются в нерегламентированном знании, которое они, собственно, пытаются себе подчинить: если бы все приказания исполнялись дословно, предприятие давно бы встало. Плановые распоряжения воспроизводят дьявола, скрывающегося в деталях. Поэтому люди ещё долго будут смеяться над автомобилями с бронированными корпусами, семейными холодильниками и унитазами из хромированной стали – и не только здесь, а, прежде всего, на самом Востоке. В виде (изначально безнадёжной) стратегии, совладать с этими недостатками, бюрократам и в будущем не придёт в голову ничего другого, кроме как и дальше избирать на предприятиях “героев труда”.

На Востоке то, что экономический механизм не может сделать сам по себе в большей степени, чем на Западе, должно уравниваться вне-экономической политической властью. Администрация поэтому периодически переходит от трезвых,

соразмерных целям указаний к принудительным мерам. Как правящая каста она рекрутируется, прежде всего, согласно доказательствам будущего бюрократа, что он успешно работал на своём предприятии над подчинением (subsumtion) социальных отношений. Эта бюрократия постоянно занимается строительством государственного аппарата как коллективного инструмента для сохранения своей власти. Диалектику этого государства Сталин описал в 1930-м году следующим образом: “Наивысшее развитие государственной власти для подготовки условий для отмирания государства”. Государственный капитализм определяется политизацией всех социальных отношений и вбиранием общества бюрократией – не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что нам ещё долго придётся ждать момента, в который произойдёт предсказанное Сталиным превращение государства в его собственное разрушение. Со знаменитым “превращением количества в качество” так было всегда: и в философии диалектического материализма, и в его политике.

Кажется, что этому государственному капитализму появилась с Горбачёвым альтернатива. В чём эта альтернатива заключается, он объяснил в январе 1987-го года:

“Предвзятое отношение к товарно-денежным отношениям и функционированию закона стоимости, которые зачастую рассматривались в социализме как нечто чуждое, привели к произвольным методам в экономике, к недооценке рыночного расчёта, к “уравниловке” в оплате труда. Это вызвало субъективизм при образовании цен, нарушения в денежной циркуляции, а также к недостаточное внимание в регулировании спроса и предложения”.

Попытка государственного капитализма, свести себя к кейнсианскому плановому государству и только при помощи денег и права добиться необходимого для воспроизводства власти экономического результата, наверняка натолкнётся на свои собственные границы в том факте, что при владычестве высвобожденного закона стоимости у определённых личностей или партий не будет патентованных привилегий на власть. Может ли, спустя семьдесят лет после вооружённого восстания в пользу государственного капитализма, в Советском Союзе возникнуть движение в сторону буржуазного парламентаризма? И если да, то что поймут с этого живущие там люди? И что означало бы это в целом для целей упразднения капиталистического способа хозяйствования?

Постмодернизм вместо “позднего капитализма”: после того, как они отказались от вопроса коммунистического общества по ту сторону капитала, то, что в 1980-м году ещё оставалось от некогда “Новых левых”, распрощалось с историей. Т.к. их больше не устраивало название, которое слишком сильно пахло архипелагом ГУЛАГом, они одновременно отказались и от своих целей. Насколько бы кривобокими ни были фанатично ведшиеся годами дискуссии о “характере Советского Союза” – в вопросе, существует ли в СССР на самом деле социализм, следует ли рассматривать СССР как переходное общество, как бюрократически деформированное рабочее государство или же как социал-империалистическую систему, всё таки проскальзывало понимание необходимости общества, отличного от того, в котором вечно возвращается капиталистическое одно и то же. В критике Советского Союза была чётко обозначена непримиримая конфронтация со “свободным Западом”. В подтверждении характера марксизма-ленинизма как науки власти и её легитимации

нашла своё выражение потребность революционной критики капитала. Но с тех пор, как в самом интересном в СССР стало соблюдение прав человека, на Западе тоже был заключён мир с государственностью, а с публикацией горбачёвской программы разоружения части бывшего движения зам мир вступили практически в любовные отношения с советским государством.

“Новые левые” подтвердили старую буржуазную мудрость, что тот, кто в двадцать не был коммунистом, бессердечен, но тот, кто всё ещё является им в свои тридцать, безумен. После смены от революционного к альтернативному движению им больше нечего было противопоставить антикоммунистической агитации на ложном примере Советского Союза. Кто раньше не мог в досталь наслушаться конкретных утопий Эрнста Блоха и обязательного “обнадёживания” (1) в следствие слепого доверия, тот неожиданно распрощался, когда ему указали на сентенцию “Ubi Lenin, ibi Jerusalem” того же автора. Кто не смог понять Маркса, попытался уничтожить его в “Кухарке и людоеде” (2). Подтасованное доказательство, что Маркс был виновен в ГУЛАГе, послужило лишь тому, что кухарка оказалась отстранённой от управления общими делами до скончания времён. Постмодернизм есть возбуждённое согласие с тем, что “поздний капитализм” ежедневно заново подрывает возможности свободы.

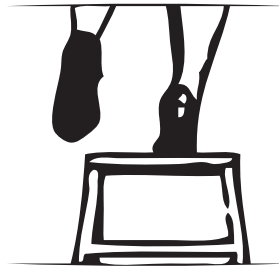
Октябрь 1987

Примечание:

1) Намёк на известную работу Блоха, «Принцип надежды».

2) Намёк на Андрэ Глюксманна и его книгу «Кухарка и людоед. Размышления о государственстве, марксизме и концентрационных лагерях» (1975 г.).

Библиотека Анархизма
Антикопирайт



Initiative Sozialistisches Forum
Государственный социализм – травма революции
1987

Скопировано 09.12.2020 с <https://liberadio.noblogs.org/?p=1596>
Опубликовано в: ISF, «*Das Ende des Sozialismus, die Zukunft der Revolution. Analyse und
Poetiken*», 1990. Перевод с немецкого.

ru.theanarchistlibrary.org